

БОРИС СЕРГУНЕНКОВ

ПУШКИНСКИЕ КЛЮЧИ

*В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробилась три ключа...*

А. С. Пушкин

Я расскажу вам о чуде, которое произошло со мной в минувшем году. Осень в Ворониче была без дождей, река обмелела, заливные луга подсохли, и я впервые с Арапкой ходил в Михайловское и обратно не по дороге, “изрытой дождями”, а вдоль Сороти, по рыбацкой тропе. Тут-то я и обнаружил под Савкино у края воды три изнорных ключа. Один ключ был обложен камнями, на другой наброшено бетонное кольцо, третий заключён в деревянную бочку. Все ключи древние; возраст их постарше Савкино. В первый раз я наткнулся на один ключ — он был скрыт в высокой траве — и испил из него.

Дома я взял томик Пушкина и прочитал стихотворение “Три ключа”. Под ним стояла дата — 1827 год. Я посмотрел другую книгу и уточнил, что в 1827 году Пушкин был в Михайловском. Мне всегда доставало в Михайловском родника. Хотелось пригубить хотя бы глоток из пушкинской чаши. Родника не было. И вот он явился. И я сразу уверовал, что Пушкин знал об этих ключах и написал о них: о ключе юности (жизни), ключе вдохновения (творчества) и ключе забвения (смерти). Из двух ключей я испил, а из третьего нет. Из какого же ключа я не испил?

* * *

Не удивлюсь, если русское духовное возрождение в будущем подарит миру образцы мощной духовной литературы, той самой, что недодали нам предки-молчальники, одарив вволю молчанием, хотя и предвижу сопротивление этому. Принцип “всё уже сказано святыми отцами” в традиции русской духовной мысли необычайно устойчив и силен. И это очень хорошо. Но и жизнь не стоит на месте и требует своего, скажем, дальнейшего обогащения, приращения к сотворённому. Действительно, всё сказано ранее, и вместе с тем есть ещё возможность и необходимость сказать нечто. Так был когда-то сотворён первый человек, но никто не отменил рождение других и новых. Вечность потому и прекрасна, что она включает в себя и мимолётное, быстролётное. Вот уж большое количество лет я открываю для себя молчание, примеряю и не перестаю ему удивляться и говорить о нём. Это ли не любовь,

СЕРГУНЕНКОВ Борис Николаевич родился 8 февраля 1931 года в Хабаровске. В 1955 году закончил отделение журналистики Киевского университета. Первый рассказ опубликовал в 1956 году. Первая повесть вышла в 1960 году. Немалое место в творчестве Б. Сергуненкова занимает пушкинская тема, животворящее начало которой наполняет особым светом творческие искания писателя. Живёт на Псковщине.

не влюблённость! Не уставая, я пою и пою любовные песни этой деве и, кажется, буду петь их до конца своих дней. У Сократа подобная любовь была к незнанию. У европейских рыцарей к Прекрасной даме. У русских крестьян – к Матери-земле. По-видимому, можно говорить об особенном русском отношении к природе, о платонической духовной любви. Некоторые называют это язычеством. Было у славян обожествление природы, но была и платоническая, духовная любовь. А это для меня вещи разные. Для русского природа та-кой же объект любви, как для Петрарки Лаура, для Данте – Беатриче.

* * *

Был на чтении и обсуждении книги одного критика о Пушкине. На его аполгетику Пушкина я ответил, что Пушкин живым богом был всегда, а для критиков и учёных всегда мёртвым идолом: до революции крепостником, при большевиках – революционером, при нынешних мудрецах – христианским подвижником, мучеником. За мной выступал воцерковленный Н. Он строго поправил меня, заявив, что богом может быть только Господь. На пушкинскую цитату о том, что русские спасли Запад от татар, возразил: спасителем может быть только Христос. Приехали.

* * *

Немец пишет: не понимаю Пушкина. Они и православия не понимают. И Россию. Пушкин – самый православный поэт. Поняли бы православие, поняли бы и Пушкина. Не надо понимать. Примите! Этого достаточно. А между тем высокомерие и вражда. А между тем мы почему-то понимаем и принимаем и Вольтера, и Данте, и Шекспира, и немца, и католичество, и Европу, и это почему-то считается не плюсом нашим, а минусом.

* * *

Приятель упрекает: ты заключил себя в башню из слоновой кости. Ско-рей: в своё сердце.

* * *

Для одних город Питер подполье, для других пустынь. Подполье – это понятно, это ещё с Пушкина, с Гоголя, с Достоевского. Впрочем, и пустынь с Пушкина. Но для пустыни в городе нужна хорошая земная твердь, ибо без неё нет и небесной, а таковой в городе мало или вовсе нет. Потому и преобладает подполье над пустыней. Город чаще подполье. А пустынь – это лес, это поле, это горы.

* * *

Чрезмерен русский человек. Если придёт гость – выставит всё на стол. Если жжёт и грабит дворянские усадьбы – так все до одной. Если строит коммунизм – так всем по пайку. Любит – до самозабвения, до самопожертвования. Ненавидит – до гроба. Если пустынь – то самая глухая. Если пушка – то Царь-пушка. Колокол – Царь-колокол. Если государство, то одна шестая мира. И при этом сам какой-то неяркий, неприметный, некликливый и внешне даже сероватый. Достоевский, зная об этой особенности народа, о его широте, говорил, что неплохо бы эту широту сузить. В шутку, конечно, говорил, потому как в этой чрезмерности и недостатки, и достоинства. И ещё нечто третье. Преображенье. Когда, доведённые до крайней точки, они, достоинства и недостатки, превращаются в свою противоположность.

* * *

Нынешние, да и вчерашние русские все рвутся в Москву. В Москву! В Москву! Как в “Трёх сёстрах” Чехова. Оно и дело. Столица земного царства для русских – Москва. Но столица для духовного царства была и осталась на Руси – пустынь. И об этом не надо забывать. И кто утвердил эту мысль в

своём сердце, тот благ, где бы он ни жил: в Питере, в Шантилихе, в Святых горах и даже в Москве. И ещё что хочется по этому поводу сказать. Возможно, пришёл такой срок, что светской русской литературе дальше хода нет — да и не дадут. И оттого — путь в духовную. И в места духовные. Ибо только в духе — свобода.

* * *

В своей знаменитой Пушкинской речи Достоевский говорит о всемирной отзывчивости Пушкина и русского народа к другим народам. И это верно. Но только ли отзывчивость к народам? А к природе? К Богу? И что значит отзывчивость к народам? Это не причина, а следствие его отзывчивости к Богу. Бог, Христос отзывчив к русскому народу, а народ отзывчив к Христу, к Богу, к природе. Когда говорили о русском народе как о народе-богоносце (тот же Достоевский), то возражали: мол, он бунты бессмысленные и беспощадные совершает, революции, топор любит. Но посмотреть в Библии на “избранный” народ, что он там только правую и левую щёки подставляет? Падения народные так же естественны, как и подъёмы, и ничего против избранности и богоносности не говорят. Что же касается Пушкина, то скорее надо было бы говорить не о всемирной его отзывчивости (не только о ней), а о том, как он ушёл от Вольтера и “Гаврилиады” к “Страннику”, к Татьяне, к Евангелию, как он легко и стремительно шёл от бесовства к ангельству. И в этом, мне думается, самая главная его особенность, как и самая главная особенность русского народа и других, подобных ему. Близость к Богу, к Христу. Да и сам Христос завещал любить Бога и ближнего. А про Бога-то в речи Достоевский и промолчал. И дал всяким дуракам твердить о всемирной отзывчивости русского народа (и Пушкина) до такой степени, что и Бога, и народ, и Пушкина в болтовне своей они потеряли.

* * *

Пути русской литературы: или приближение к Пушкину, или удаление от него.

* * *

Приятно было прочитать у Ельчанинова, что для того, чтобы быть русским, нужны язык и вера, и больше вера, чем язык. Это для эмигрантов. А для аборигенов: язык, земля и вера, но больше вера, чем земля и язык.

* * *

Русская святость XVI—XVI веков помогла русским не только повернуться лицом на Восток (Александр Невский) и потом освободиться от татар (Дмитрий Донской), но и подружиться с Западом (Алексей Михайлович, Пётр) — так хотелось бы рассматривать русскую историю. Она помогла русским на востоке дойти до Тихого океана и создать империю (Евразию), как когда-то византийская святость создала Византийскую империю, греческая — греческую империю, римская — Римскую, китайская — китайскую и так далее. Конечно, можно сказать, что князь Александр Невский повернул на Восток, что князь Дмитрий Донской разбил татар, что Пётр прорубил окно в Европу, и это будет правильно. Но можно сказать и так, что русская святость, русская Фиваида в лице русских подвижников, начиная с печёрских старцев, святых и кончая нынешними, помогла Руси глядеть то на Восток, то на Запад, оставаясь самой собой. А когда убывала святость, приходили смута и нестроение. Русские то взращивали своё духовное ядро, семя молчания, то теряли его, что естественно и за что расплывались. Русский народ свято верил, что где-то в середине Русской земли, Руси лежит Алатырь-камень, спасающий Россию от всех бед. Он и сейчас лежит, и будет лежать века веков, тысячелетия, только русские — то помнят о нём, то забывают. Он где-то в земле лежит зарытый, а на самом деле он в сердце каждого русского человека. Но открыть его в своем сердце бывает труднее, чем откопать в земле.

* * *

Россия не Европа, не Азия, не Евразия, хотя, конечно же, и то, и другое, и третье, Россия — это Дом Троицы, Дом Богоматери, Дом русского духа (Святая Русь). Стеснилась она между двух мировых океанов — Атлантическим и Тихим и пребудет во веки веков.

* * *

Говорят: в России писатель должен жить долго. Кто с этим спорит! Конечно — хорошо, когда старость не конец, а венец.

* * *

Соседка, восьмидесятилетняя старуха, ослепла и просит почитать ей Гомера.

* * *

Был холодный ветер. Редкие облака быстро бежали с севера на юг. После заката и ухода солнца небо приобрело какой-то серо-зелёный цвет. Он почему-то упрямо сочетался у меня с понятием мужества, хотя, что было в нём мужественного, я бы никогда не смог сказать.

* * *

Последнее время, то ли потому что стар становлюсь, и ноги не имеют той прыти, какую имел ещё совсем недавно (а в давние времена я бегал, прыгал, как козёл), то ли по какой иной причине, стал я ходить не в Михайловское, что для меня стало слишком далеко, а до трёх сосен — всего до половины пути к цели.

Этого для меня вполне достаточно. Раньше мне только Михайловское и надо было. Теперь я утешаюсь половиной пути. Дойду до трёх сосен, сяду на дубовую скамеечку, — благо тут их две, — сначала три поставили, а потом одну увезли, — и сижу, греюсь на солнце. Посижу и отправляюсь в обратный путь. И доволен, и рад. И полон чувств и мыслей. Я теперь ни в Михайловское не ходок, ни в Тригорское, ни в какие другие заветные кущи. Мне эта дорога до трёх сосен самая радостная. Одного боюсь, что скоро я и туда ходить перестану. Буду сидеть у себя дома на завалинке или, что ещё вероятнее, лежать в постели, — и этому буду рад. Но пока я завалинкой не удовлетворяюсь. И уж тем более не хочу валяться в постели. Пусть на неё другие находят любители. Пока мой путь к трём соснам (а ещё недавно в Михайловское!) и обратно. Впрочем, мне кажется, что я только туда хожу... А обратно не возвращаюсь. Или остаюсь на месте, а они, сосны, сами от меня уходят, и я каким-то чудесным образом оказываюсь у себя дома.

* * *

В майский праздник Победы возвращался с прогулки речным лугом, и на небе белые облачка, как щиты, несущие души погибших воинов ещё с той давно прошедшей войны, летели с запада на восток.

* * *

Для русского человека мало того, чтобы литератор, художник был божественным творцом, он хочет, чтобы он ещё был божественным творением. Не случайно из сонма прекраснейших имён он выбрал в русской литературе одного Пушкина. Не только за то, что тот писал хорошие стихи, но и за то, как прожил жизнь. В Пушкине для него творец соединился с творением, и оба удались на славу. Гоголь чувствовал это и понимал, когда говорил о двухстах годах ожидания новых Пушкиных. Он не угадал. Сие случается значительно реже, может быть, и вообще один раз в национальной истории. И за то Гос-

поду спасибо. Правда, в русской литературе был ещё один божественный творец, соединивший в себе и божественное творение, – Рублёв. Но это уже не человек, а ангел. Рублёв и Пушкин – вот два типа русского гения, один ангел, другой человек. И оба ангела. Оба совершенные творцы и оба совершенные творения. Образно можно сказать, что Пушкин – это Рублёв девятнадцатого века. Гоголь прав, Пушкин был действительно совершенным человеком. И это при всех его слабостях, пороках, падениях и грехах! Иные тут же скажут: совершенство в несовершенстве. И тут же попадут в десятку, но и промажут. Потому что совершенство включает в себя и несовершенство. Оно соединяет в себе эти несоединимости. Оттого и божественно. Мирское и не от мира сего. Пушкин – дитя, как на рисунке Фаворского.

* * *

Был на празднике в Михайловском. Видел воздушный шар. Он то поднимал, то опускал в корзине желающих. Рядом с эстрады поэты, как всегда, читали стихи. Шар то и дело шипел, пшикал, зажигалась и гасла газовая горелка, наполняющая шар тёплым воздухом, а казалось, что это поэты выпускают последние поэтические вздохи. Впрочем, проходя мимо, я услышал из уст какой-то поэтессы сначала слово о великой радости, потом слово о великой библейской природе и, наконец, различил первую строчку её стихотворения: “Пора копать картошку”.

Почему-то, когда поэты читают на эстраде михайловской поляны свои стихи, мне всегда становится стыдно. Наверное потому, что читают они их, как мне кажется, не людям, а травам, соснам, солнцу, облакам, словом, природе. Людям соврать ещё как-то можно. Природа не терпит никакой лжи. В небольшой компании ещё можно послушать поэтические бормотания. Но когда читают стихи на природе, с эстрады, да ещё кричат во весь голос, хочется пойти к торговым рядам и купить кулёк бубликов и пяток помидор. И думаю, что никто никого за это не осудит. Даже Пушкина не представляю, читающего здесь на поляне свои стихи. Не говорю о лживых стихах, о них разговор особый, есть в самом этом чтении какая-то ложь. Тут просится карнавал, игры, гуляние, зрелища, воздушный шар, наконец. Словом, народное гуляние. А “пора копать картошку” – это ведь очень серьёзно.

* * *

К концу своей короткой жизни Пушкин интересовался проблемой безумия. И писал об этом. “Пиковая дама”, “Медный всадник”, “Не дай мне Бог сойти с ума”. Высшей, конечной точкой отсчёта жизни у него становилась не смерть, а безумие. Он словно жизнь заменял творчеством, лад творчества противопоставлял хаосу безумия, счастливо соединяя эти несоединимые вещи (“Медный всадник”). Для него безумие было равно смерти. С ним можно было бы полностью согласиться, если не существовало бы безумия подвижника, святого, сказочника, безумия равного жизни.

* * *

Существует мнение, что русская литература началась с гоголевской “Шинели”. А Гоголь откуда вышел? Не из облака же, подобно Зевсу? Утверждаю, что Гоголь вышел из Пушкина. Посмотрите, как смело он пользуется приёмом, изобретённым Пушкиным в “Медном всаднике”! Соединение двух несоединимых тем, в сюжете одно, а в авторском отступлении другое. У Пушкина Пётр, Петрополь и Евгений. У Гоголя Собакевич, Манилов и русская тройка. После Пушкина писать Гоголю было легче лёгкого. Умирать трудней.

* * *

Для русского литератора писательство – священный акт, это и богопознание, и самопознание, и миропознание, – искание истины, правды, добра, красоты. Это ещё с Кирилла и Мефодия идёт, с их грамоты. Слава им в вышних и на земле благоволение! На Западе писательство тоже прекрасно, но это нечто другое. Для нас, по словам нашего поэта, это труд, завещанный от

Бога. И это никакое не великое открытие – это повседневность, это знает не только каждый литератор, это знает каждый, умеющий читать.

* * *

Повстречались столичные туристы. Учтиво спрашивают:

- Как вашу собаку зовут?
- Арап, – отвечаю я.
- Араб или Арап? – уточняют. Видно, любители творчества Пушкина, словесники, блюстители политкорректности.
- Арапка, – отвечаю я.
- Арапка Петра Великого, – с удовлетворением подытоживают они.

* * *

Со времён Белинского о романе “Евгений Онегин” говорят как об энциклопедии русской жизни. И это правильно. Сейчас я его перечитал, и у меня родилась мысль, что Пушкин больше в нём умолчал, чем сказал. И это, может быть, самое ценное и в Пушкине, и в его романе.

* * *

В десять часов вечера при звёздах вышел погулять, дошёл до Поклонной горы, повернул назад, глянул вверх и обомлел: вся северная сторона неба, которая только что была за спиной, горела! Это было сияние. С левой стороны, с западной, над Тригорским сияние было и красным, кровавым, с правой, над Михайловским, голубым, ангельским, прямо по северу – светлым до белизны, как будто над Носовым поднималось солнце. Сияние двигалось и переливалось из одного края в другой. Казалось, небо то сворачивалось, то разворачивалось, как свиток. И если в этот миг на земле время измерялось секундами и минутами, то на небе – тысячами и миллионными годами.

* * *

Утром проснулся, открыл глаза и увидел в окне зарю. Она росла и одновременно угасала. Казалось, ещё немного, и она заполнит собою всё небо или, сократившись, угаснет, погрузив утро во мрак. Но ни того, ни другого не случилось, заря не захватила собой небо и не ушла, приведя ночь. Медленно, но уверенно наступал мрачноватый день.

* * *

Вспомнил Пушкина “К морю” и особенно “В леса, в пустыни молчаливы”, свою первую повесть и слова московского критика М., связавшего мою слабую повесть со стихом Пушкина. С той только разницей, что Пушкин заточился в пустынь невольно, а я по своей воле. Будучи лесником, я спасал лес, а он меня. И, кажется, он преуспел больше, чем я. Худо-бедно, но я всё-таки – пришёл к Богу, а лес спасти, сохранить не смог. Или, как у нас сейчас говорят: окружающую среду. Но главная мысль была не об этом. Это был лишь подступ к ней. Почему Шаламов ушёл от Христа и пришёл к лесу? Разочароваться в человеке не трудно. Но разочароваться в Христе? Но при христианстве разочаровалось же человечество в природе, назвав её окружающей средой. Почему для меня главным в изображении стала природа, а не человек, не человеческая среда? Не только же потому, что я был лесником? Шаламов взбунтовался не против Бога, а против антропоцентризма современного христианства. Так же, как когда-то христиане взбунтовались против обожествления природы язычниками. Для современного человека слишком много человека и мало природы. А что будет, когда на Земле будет 16, 32, 64 миллиарда человек? Сколько тогда будет сосен? Сколько лягушек, слонов, одуванчиков? Сколько тогда будет в человеке человека? Сколько леса? Сколько Бога?

* * *

Грех современных светских людей – тщеславие, церковников – гордыня.

* * *

В небе над Тригорским появились дельтапланы с моторчиком. Пассажиров, надо полагать, особо почитающих гения, за солидную плату могут показывать по воздуху, полюбоваться пушкинскими местами с высоты птичьего полёта. Зато, потревоженные шумом, перестали селиться в Тригорском аисты. И шест им новый для гнезда стоит, а аистов нет. А раньше селились десятки и, думается мне, сотни лет подряд. Место-то насиженное. В Михайловском после реставрации на плотине между Верхним и Нижним прудами вместо тоненькой трубы воздвигли монументальный каменный каскад – сооружение для Ниагары, не меньше. Сколько камней туда уложили! Сколько мыслей было потрачено архитекторами и строителями, чтобы воздвигнуть это грандиозное чудо! Сколько труда и денег! А звук падающей воды пропал. Не бежит вода по каскаду. Пуст он и сух. Пробивается вода тоненькой струйкой где-то у самого основания плотины. После всего сказанного хотелось бы задать такой вопрос: а согласилось бы человечество на то, чтобы навсегда пропал звук падающей воды в мире, чтобы исчезли аисты, чтобы исчезла тишина, а остался бы один рёв летательных машин над головой? Мне кажется, никакая реставрация, даже заслуживающая самого высокого уважения, никакая коммерция не может заменить звука одной капли падающей воды в усадьбе поэта, знавшего цену и тишине, и звуку.

* * *

Гений и злодейство совместны или нет? Задал Пушкин задачу для простаков вроде меня. Одно время я твердил: совместны. В другое: несовместны. Наконец, добрал до третьего: совместны и несовместны. Это по тому, какую силу выражает собой гений. Есть две силы, светлая и черная. Если гений выражает божественную силу, светлую, то несовместны. Если дьявольскую, чёрную – совместны.

* * *

Шёл из Михайловского в Воронич, устал, вспотел, и небо было впереди унылое, забитое серыми тучами, и уже на подходе к Вороничу оглянулся назад и увидел совсем другую картину: голубое небо и редкие белые облака (такие облака, такое небо способны вечно радовать душу!), и пожалел я, что, двигаясь вперёд, шёл я как бы назад, а не двигаясь назад – вперёд.

* * *

Соединение ума с безумием не даёт мудрости. Но ум порождает безумие. Так Пушкин, столкнувшись со своим умом, задумался о безумии. Вот откуда у него и Герман, и бедный Евгений, и “Не дай мне бог сойти с ума”. Следующим этапом была смерть. И она к нему пришла. Ум – безумие, но не ум – молчание. Но как он мог прийти к молчанию, когда обязан был писать? Когда сделал ставку на писательство? Один гений звал его в пустынь, а другой в издательство. История с Дантесом – это только предлог, мелочный и скучный. Не с царём он дрался, не с высшим светом, а с самим собой. И тут подвернулся Дантес. И умер он (погиб) на переломе судьбы. Его смерть чем-то похожа на смерть Гоголя: приятие смерти внешней, а не внутренней. Как человек он умереть мог, а как поэт не мог. Свою судьбу поэта он (они) ставил выше судьбы человека. Как только он объявил себя профессиональным литератором, он разделил свою судьбу на две судьбы: поэта и человека. Традиция русского слова не могла не потребовать его к смерти. Но он выбрал не смерть поэта, а смерть человека. Обычно говорят: Пушкин – первый профессиональный поэт. Но и последний. Гоголь уже не профессионал. Он на поприще. На Пушкине началась и завершилась трагедия русской литературы (русского литераторства).

* * *

Сколько шагов спуститься с горы? Не считал. Сколько подняться? Тоже не считал. Спускаешься, считаешь, а потом глянешь вокруг, красоте внимая, сердце замрёт, тут не до счета, глядишь, красоте внимаешь. Или поднимаешься в гору. Жарко. Тяжело. Одышка одолевает. Остановишься передохнуть. Со счёта сбился. Однажды всё-таки, от нечего делать, посчитал. Сколько? Столько-то. И что же? Гора от этого стала и выше и ниже.

* * *

Не скромничая, могу торжественно заявить, что вот уже более десяти лет хожу по пушкинскому пути к прекрасным дамам от Вороница к Михайловскому и обратно. Вот и сегодня с Арапчиком я совершил этот замечательный путь, с той только разницей, что вначале обогнули мы озеро Маленец, обошли мельницу, прошествовали мимо “холма лесистого” и уж потом пошли (вернулись) по известной и, как говорится, накатанной дороге, “изрытой дождями”, что, думается нам, ничуть не искривило ни путь наш, ни умалило пути гения. Что же мы увидели? По дороге встретился нам один фотограф, три дамы, одна сообщила, что собирает на суп щавель, кобелек с Савкиной горы по кличке Грей, молодой художник с этюдником, сторож в будке, охраняющий въезд в заповедник, бегущие по небу облака, несколько машин и девочка на велосипеде. Была вторая половина дня, день был прохладный (от быстрой ходьбы мы вспотели), дул лёгкий северо-восточный ветер, изредка сквозь облака светило солнце, дымка и ещё что-то неуловимое извещало о предстоящей холодной ночи и даже, может быть, лёгком заморозке, так что я подумал: всё ли у меня убрано в огороде? Путь был лёгок, скор, необременителен, как любой путь, к дамам особенно. Арапчик лаял звонко, дорога была от сухости жестковата, но зато крепка, вырисовывались по сторонам ещё зелёные лесные дали, чернели и желтели на скошенных лугах угасшие травы, дышали, выделяя озон, три сосны, солнце клонилось к западу, небо очищалось, мир готовился к покою. И тишина. Всё, что мы встретили, было мягко, доброджелательно, улыбочато, даже мрачноватый пес Грей не цапнул Арапчика, проявившего чрезмерное любопытство к гревскому хвосту, правда, вода в Маленце показалась неприятно-грязноватой от взбаламученных водорослей, но и она не портила вида дороги и нашего настроения. Словом, путь, как и предполагалось, удался. Что там ни говори, а по такой дороге к дамам ходить одно удовольствие. Значит, знал поэт, куда ходить и по какой дороге. Ну а мы лишь повторяем смиренно его путь.

* * *

Если у меня и есть что-то общее с человеком, жившим в этих краях около двухсот лет назад, то это одно: и он, и я в двадцать шесть лет познали горечь и сладость одиночества.

* * *

В споре между Пушкиным и митрополитом Филаретом Дроздовым (“Дар напрасный”) митрополит занимает сторону книжника, а Пушкин Христа. И это тем более странно, что правда не на стороне поэта Пушкина, а на стороне митрополита Филарета. Митрополит говорит от лица книги, Пушкин от лица живого опыта гения. И он убедительней. Казалось бы, тут-то и поставить вопрос: что важнее: книга или живой опыт? Церковь, не уставая, говорит: книга. Но, может быть, и вопроса не надо ставить, где и так понятно, что ценен живой опыт, поднявшийся до книги, и книга, подкрепленная живым опытом. В данном же случае дар живого поэтического и человеческого опыта поэта перевешивает знание мёртвой буквы церковника.

* * *

Со времён Пушкина русские гении обижаются на народ. Мол, не признаёт их народ. Не там они родились. Вот и Свиридов о трагедии заговорил.

И они правы. Не признаёт своих гениев русский народ. Но он и себя не признаёт! Или не его топчут и убивают, обманывают и отбирают последнее, а он молчит и не высовывается, — терпит? А ещё лучше — живёт своей жизнью. Иногда пробует обидеться, но худо для него это обходится. Но и не признаёт-то при жизни! А после смерти кто обойдён был славой? Может, сам Александр Сергеевич Пушкин? Да при наших порядках, если бы при жизни гениев величали, все дураки их места заняли. Или такого мы не знали? Нет, гений — это человек не от мира, а от Бога, и человеческий мир ему не указ. Это Александр Сергеевич понимал. А уж если так, то сиди, милый друг (это я к себе обращаюсь), и, как говорится, не рыпайся. Делай своё скромное дело и радуйся. И помни: русскому человеку, гений ты или бездарь, жить в пустыне — благо.

* * *

В одном из черновиков стихотворений (“Вновь я посетил”) Пушкин говорит: “Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой” (о Михайловском). Хомяков пишет Языкову: “Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось, и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от неё отделаться или её возобновить”. Воскресить, — сказали бы мы. О Пушкине можно сказать: поэзия воскресила его, она же его и убила. И тут же для полноты добавить: поэзия убила Пушкина, она же его и воскресила.

* * *

Пушкин собой подтвердил и утвердил святость Святых гор. В чём уникальность Михайловского? В соединении святости и гения, святости Святых гор и гения поэта.